



реального Щепкина должен был убедить театральную публику в необходимости пересмотра традиционного воззрения на «Ревизора». На деле же М. С. Щепкин обнаружил категорическое неприятие нового – аллегорического – толкования пьесы, главную роль в которой он исполнял много лет. «Развязка...» не была поставлена на сцене, а впервые опубликованной оказалась только после кончины Гоголя.

Во многом задачей этой пьесы стала отмена многих достижений «Театрального разезда...». Гоголь переносит действие в реальность, которая не знала представленной в нем концепции. Эта пьеса вообще была отменена, ее как будто не существовало. Несмотря на долгие годы, в течение которых Первый комический актер исполнял роль Городничего, претензии к пьесе повторяются те, которые высказывались на премьере, изображенной в «Театральном разезде...»: обилие неприглядных героев, отсутствие полезности для общества. И, конечно же, в этом художественном мире не существовало финального монолога Автора в «Театральном разезде...», который оправдывал беспощадность и нравственную функцию сатиры. Вместо этого дается альтернативное толкование: «ключ» пьесы, интуитивно уловленный Первым актером и открытый им труппе и почитателям в день окончания им актерского поприща.

Не желая при этом грешить против истины, Гоголь признавал, что эта интерпретация не сопровождала написание комедии. Но само это признание он замаскировал под реплики оппонентов Первого актера, помещенные во «Вторую редакцию окончания “Развязки «Ревизора»”»:

*Федор Федорыч. Сознаюсь вам, Михал Михалч, откровенно, несмотря на то, мысль не дурна и могла бы послужить даже предметом сочиненья художественного; но я не думаю, чтобы автор ее имел в виду.*

УДК 821.161.109-31+929 Гоголь

## МОЛВА В ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОВЕСТЯХ ГОГОЛЯ: ЖИВАЯ ГАЗЕТА

Л. А. Ефремычева

Саратовский государственный университет  
E-mail: larisa\_efr@mail.ru

Исследуются художественные функции мотивов молвы в сюжете петербургских повестей Н. В. Гоголя и их связь с хронотопом российской столицы. Проводятся аналогии с текстами журнала «Библиотека для чтения».

**Ключевые слова:** Гоголь, мотив, молва, безмолвие, хронотоп, «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Шинель», «Библиотека для чтения».

*Николай Николаич (решиительно). Вздор! Он и в помысленни этого не имел!*<sup>3</sup>

И далее, оставаясь верным художественной правде, он вынужден признать риски восприятия, связанные с новопринятым им художественным методом:

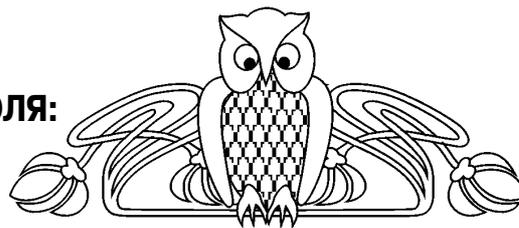
*Михал Михалч. Да разве я вам говорю, что автор имел ее в виду? Я вам вперед сказал. Автор не давал мне ключа. Я вам предлагаю свой. Автор, если бы даже и имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы ее обнаружил ясно. Комедия тогда бы сбилась на аллегорию, могла бы из нее выйти какая-нибудь бледная, нравоучительная проповедь*<sup>4</sup>.

Но это признание опасности непонимания было «вырезано» Гоголем из основного текста «Развязки...». Помещенное в текст авторское соображение было способно разрушить игру, затеянную автором.

«Театральный разезд...» и «Развязка “Ревизора”» находятся друг с другом в полемических отношениях, оставаясь при этом памятниками тонкой, порой беспощадной саморефлексии автора. В ключевые моменты литературной деятельности Н. В. Гоголь, чтобы прояснить свою художественную позицию публике (а возможно, и самому себе), предпринимал попытку создания драматических произведений, в центре внимания которых находилась проблематика главной пьесы его жизни – «Ревизора».

### Примечания

- <sup>1</sup> Набоков В. Николай Гоголь // Набоков. В. Лекции по русской литературе. М., 1999. С. 62.
- <sup>2</sup> Гоголь Н. Полн. собр. соч. : в 14 т. М. ; Л., 1937–1952. Т. 4. С. 137.
- <sup>3</sup> Там же. С. 134.
- <sup>4</sup> Там же.



Rumour in St. Petersburg Novels by Gogol: Live Newspaper

L. A. Yefremycheva

The artistic functions of the rumor motives in the plot of the St Petersburg novels by N. V. Gogol and their link to the chronotopos of the Russian capital are studied. Analogies are drawn with the texts of the journal *Biblioteka dlya chteniya* (Library for reading).

**Key words:** Gogol, motive, rumor, silence, chronotopos, «Nevsky Prospect», «The Nose», «The Portrait», «Diary of a Madman», «The Overcoat», «Library for reading».



Петербург – место действия пяти повестей, включенных в третий том первого Собрания сочинений Гоголя, – оказался для писателя городом разочарования. Столица, не имеющая «печати национальности», окутана суетой и тишиной<sup>1</sup>. Правда, и это кажущееся безмолвие при пристальном рассмотрении оборачивается изменчивым многоголосием, сложенным из городских слухов, газетных и журнальных вестей, а также обыденных пересудов.

В гоголевской галерее персонажей петербургские остроловы могут считаться «преемниками» малороссийских говорунов, которые своими раздобрами собирали вокруг себя любопытствующих. Правда, если вторые толкуют по большей части о фольклорных сюжетах, то первые – «об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове» (III, 35). Расширение, по сравнению с Диканькой и Миргородом, пространственных границ накладывает отпечаток не только на содержание толков, но и на формы, которые они приобретают, будь то газетные небылицы, городские слухи, салонные беседы или мимолетные уличные рассуждения на любые темы. В сюжетах повестей затейливо раскиданы невероятные происшествия, мгновенно подхватываемые и проверяемые молвой; не получающие подробного описания, но схематично очерченные толки различных малых групп (слуг, мелких чиновников или прогуливающихся); а также отголоски вычитанного из прессы.

Все, что составляет столичный колорит, – городское устройство, портрет жителей, их уклад, а также многочисленные рассказы – будет представлено писателем в пограничном состоянии, подвергнуто сомнениям или недоверию. Сгущение различного рода слухов и мнений – одно из особых свойств, которыми наделена столица в гоголевском художественном мире и – шире – петербургском тексте отечественной литературы<sup>2</sup>. Пластичность, заколдованность и миражность, присущие российскому центру, проявятся в авторской атрибуции рассказней, находящихся на границе между фантазийно-гротескным и реальным.

Ю. М. Лотман, говоря об истории как об отражении жизни населения Петербурга, отмечает, что в ней «<...> сразу же бросается в глаза огромная роль слухов, устных рассказов о необычайных происшествиях, специфическом городском фольклоре, играющем исключительную роль в жизни “северной Пальмиры” с самого момента ее основания»<sup>3</sup>. По свидетельству исследователя, сбором городских мифов и слухов занимались не только писатели и публицисты, к примеру Пушкин, Дельвиг и Добролюбов, но и официальные институты власти, в частности Тайная канцелярия. О серьезном восприятии городских слухов современниками Гоголя пишет и В. М. Маркович: «Сознание пушкинского и гоголевского поколений еще сохраняло связь с традицией фольклорных устных рассказов о чудесном, а в этих последних

ссылка на слух, предание, чьи-либо слова утверждала достоверность рассказываемого»<sup>4</sup>.

В столице, где «<...> все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах» (X, 139), горожане ищут спасения в легкодоступных рассказах, которые единственные могут вывести из будничного «оцепенения». Молва в петербургском пространстве – это возможность привнести в обыденность «волшебство» особого свойства, а именно – опирающееся на городские толки или газетные известия. По словам В. М. Марковича, слухи становятся своеобразными «амортизаторами», которые помогают уравновесить два противоречивых человеческих проявления – «нормы разумности и стремление к чуду»<sup>5</sup>.

Рассуждая о жанре устной литературы петербургского салона, Ю. М. Лотман отмечает в качестве важного содержательного элемента «рассказывание страшных и фантастических историй с непременным “петербургским колоритом”»<sup>6</sup>. По свидетельству М. И. Пыляева, отдельное место в столичном мироустройстве двадцатых и тридцатых годов XIX в. занимали «замечательные вруны»<sup>7</sup> и краснобаи, «забавлявшие <...> общество своими затейливыми выходками и неожиданными рассказами»<sup>8</sup>. Надо заметить, что приметы подобного типа героев мы встречаем и в описании офицеров в повести «Невский проспект». К числу умельцев разжечь внимание «бесцветных красавиц» (III, 35) относился, к примеру, поручик Пирогов. Способность рассмешить внимающих зрительниц – это, по мнению рассказчика, «особенный дар» (III, 35).

Словоохотливые остряки, богатые воображением, становятся центром всеобщего притяжения, разжигая «информационный костер» на пустом месте. Князь Д. Е. Цицианов, например, любил рассказывать о небывалых случаях: «Так он, между прочим, говорил о каком-то сукне, которое он поднес Потемкину, вытканном по заказу его из шерсти одной рыбы, пойманной им в Каспийском море»<sup>9</sup>. В один ряд с такими историями могут встать и происшествия из гоголевских повестей. Если Петербургу оказываются свойственны карающий призрак Башмачкина, оживающий портрет ростовщика, прогуливающийся по улицам нос, то и слухи кажутся не просто мимикрирующими под реальность, но именно такого рода реальность и создающими.

#### **Газетные известия: фиксация невероятного и основа для рассказней**

В петербургских повестях Гоголя не раз упоминаются сообщения прессы. Газеты и журналы в XIX в. можно рассматривать как инвариант молвы, обретающей письменное закрепление. Пресса становится одним из способов бытования слухов, превращающего произнесенное слово в



зафиксированную новость. Печать включается в повседневный информационный обмен горожан, выстраивая при этом некую геральдическую конструкцию, умножая толки. «И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов» (III, 61), – сокрушается принимающий объявления чиновник из повести «Нос». Молва охотно дает оценку своим же сообщениям, неправдоподобным и недостойным обсуждения и публикации в прессе. Порождение столичным пространством миражных ситуаций и явлений вкупе с готовностью газетчиков признать отдельные публикации фикцией усложняют расшифровку слухов и их проверку с точки зрения истинности. Создается впечатление непреодолимой зыбкости «фактов», которые составляют корпус и городских пересудов, и новостной повестки дня в прессе. «При переходе от устного бытования к тексту слух резко увеличивает свой информационный объем и возможности толкования (= применения) его. Обрастая деталями, слух имитирует не достоверную информацию, а саму идею достоверности, образ (версию) правды, а не ее самое»<sup>10</sup>, – считает К. Г. Исупов.

Периодика создает почву для веры горожан в невероятные происшествия и пользуется повышенным вниманием к удивительным историям. «Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали весь город опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту» (III, 71). Такие чрезвычайные, даже демонические известия будоражат сознание толпы, которую приучили интересоваться необыкновенными известиями.

Информационная картина, складывающаяся из принимаемых на веру толков, дублирует и накладывается на ту, что получена из газетных известий. Неслучайно Поприщин ставит в один ряд гуляющие рассказы и вычитанное в прессе: «Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю» (III, 195). Аксентий Иванович упоительно творит новую реальность, которую на ходу подкрепляет толками, вымыслами и додуманными деталями. Об этом говорит и С. А. Шульц: «Автор и герой вместе посылают читателю свою весть – “безумное слово”, которое передает некое рационально невыразимое знание о мире, более того, оно само в своем экзистенциальном намерении есть это знание»<sup>11</sup>.

«Записки сумасшедшего», написанные в форме дневниковых записей, соотносятся с идеей

журнальной периодичности. Фиксация времени, как и обозначенная очередность появления новых выпусков изданий, задают линейную шкалу петербургской жизни, которая, правда, в какой-то момент сбивается и, по большому счету, теряет необходимость. Рассказчику важно показать эффект, который производят толки. Менее значительным становится то, как родилось сообщение, откуда и как давно пошел слух. В гоголевских повестях, начиная с цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», рассказы интересны в момент их актуализации, т. е. тогда, когда мы следим за ситуацией в настоящем и имеем возможность сопоставить события разных временных и пространственных плоскостей. Петербургским повестям присущ принцип информационной хронологии, который складывается из последовательности любопытных городских известий.

Говоря о формах молвы, В. М. Маркович отмечает, что в «Записках сумасшедшего» «слух, почерпнутый из газеты, в сущности, гораздо фантастичнее “изустного”»<sup>12</sup>. Неслучайно в некоторых материалах, которые выходили в отечественной прессе времен Гоголя, авторы изумлялись чужому доверию к фантастическим событиям. Но, уделяя внимание этим несообразностям, редакции поддерживали мнение о том, что даже неправдоподобные известия могут завладеть умами масс. «Можно ли удивляться, что многие весьма умные люди верят в чудеса магнетизма и гомеопатии, когда самые знаменитые умы в области науки верили и верят в жаб, благополучно проживающих в недрах деревьев или камней со времени потопа?»<sup>13</sup>, – так, к примеру, начинается статья «Живые жабы в твердых телах» из раздела «Смесь» «Библиотеки для чтения».

Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод «Библиотека для чтения» издателя А. Ф. Смирдина – знаковое явление для отечественной журналистики первой половины XIX в. Он начал выходить в 1834 г. и обрел большую популярность, что доказывают огромные тиражи: в 30-е гг. выпускалось до 7000 экземпляров<sup>14</sup>. Исследователи отмечают, что издателя интересовала коммерческая успешность нового журнала, и, вслед за литературным критиком С. П. Шевыревым, относят его к «торговой» журналистике<sup>15</sup>. Материалы распределялись по семи разделам: «Русская словесность», «Иностранная словесность», «Науки и художества», «Промышленность и сельское хозяйство», «Критика», «Литературная летопись», «Смесь». В последний, самый разнородный по тематическому наполнению, попадали известия о научных открытиях, необычайных происшествиях, загадках и новых книгах, переводные новости крупных европейских институтов, учреждений науки и искусства, а также новости моды. Устная формула «все говорят» переходит в печатную «<...> все журналы повторяют, следовательно, и мы должны повторить <...>» (1834. Т. 4. С. 63).



Обзор томов за 1834 г. (период, когда Гоголь еще работал над отдельными повестями, вошедшими позже в третий том Собрания сочинений 1842 г.) дает представление об интересе авторов ко всему невероятному, необъяснимому или масштабному. Мы встречаем заметки о «“Дивной операции” нью-йоркского доктора Мотта» (1834. Т. 4. С. 63), «необычайном действии, произведенном музыкой над одной женщиной» (1834. Т. 6. С. 54), «огненном шаре на мачте» (1834. Т. 2. С. 49), «Странном способе лечения онемевших» (1834. Т. 2. С. 64), «Исполинских цветах Суматры» (1834. Т. 3. С. 26), «Новом огромном телескопе» (1834. Т. 4. С. 65), «Кошке-естествоиспытательнице» (1834. Т. 4. С. 30), «Оренбургском Гомеопатическом чуде» (1834. Т. 4. С. 62), «Наблюдении в желудке одного американца» (1834. Т. 4. С. 5).

На фоне таких сообщений не вызывая удивления, что Ковалев, «потерявший лицо», ищет спасения в редакции. Объявление в газете может помочь разыскать беглеца-носа, которого нужно «поставить на место», однако деликатность, комичность и постыдность самой ситуации мешает удачному замыслу. Ковалев печется о своей репутации и пытается сохранить фамилию в тайне: летучая молва, возможно, и помогла бы ассессору, но вместе с тем она способна осмеять и посрамить. Такое непредсказуемое поведение коллективного разума говорит об осторожности, с которой к нему стоит обращаться.

Чиновник, принимающий объявления, не имея возможности опубликовать текст о пропаже носа, смог лишь помочь Ковалеву советом. И сделал это, опираясь опять-таки на толки: «Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос» (III, 61). Вера гоголевских персонажей в чудодейственные способности тех, о ком ходит такая слава, помогает предложить выход даже в самой невероятной ситуации: от потери носа до желания написать портрет «совершенно как живой» (III, 128).

Молва ненадежна, зачастую самонадеянна и склонна к преувеличениям, но при этом очень услужлива: мгновенно предлагает варианты выхода из сложившегося затруднения. Правда, при этом еще больше запутывает. В. Ш. Кривонос считает, что «<...> в роли нечистой силы, сбивающей с пути, выступают в “петербургских” повестях не только те или иные персонажи, но также предметы и знаковые вещи, если они наделяются свойством “обманывать, отводить глаза” и “потмелять сознание”»<sup>16</sup>, – сбивать с пути эпизодических героев «Носа» будут и слухи. Причем в прямом смысле слова.

Росказни соединяют бытовое и фиктивное пространства, вовлекая в действие новых эпизодических персонажей «из толпы» и разнося весть о гротескном в реальном петербургском локусе. Толпы любопытствующих с готовностью проверяли разносимые слухи и каждый день отправлялись туда, где будто бы видели носа. Таким

действенным эффектом молвы не преминул воспользоваться торговец пирожками, поставивший для удобства зевак скамьи: чтобы рассмотреть необычного прохожего. И сколь бы неправдоподобными ни казались рассказы, они пусть и приводили в негодование разочарованных, но уже после личной проверки. Полковник, отправившийся посмотреть на носа, увидел в витрине лишь знакомую картинку и, конечно, мгновенно посетовал на нелепый характер рассказней: «Отошед, он сказал с досадою: „как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?“» (III, 72).

Будучи уместным коммуникационным заполнителем беседы, слух интересен своим ненавязчивым, но очень действенным умением создавать общее поле интереса. Если в гоголевских произведениях и появляются толки, они обязательно вызывают эмоциональную реакцию у тех, кто их слышит, пусть даже эти рассказы и не вызывают доверия.

То, что скептически настроенные к слуху о сбежавшем носе оказались в меньшинстве, подчеркнуто самим рассказчиком: «Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна» (III, 72). Правда, следующая же характеристика снова меняет настроение и лишает уверенности в том, что смущает эту категорию адресатов именно неправдоподобие новости. Негодование «одного господина» о «нелепых выдумках» в «просвещенный век» (III, 72) служит, скорее, очередным поводом покритиковать правительство. Другими словами, просто становится отправной точкой для новых пересудов, переводя фокус с разговора о происшествии на более масштабные и умозрительные рассуждения.

Молва в повести «Нос» воспринимается читателем иначе, чем в более ранних произведениях Гоголя, это объясняется самой обстановкой, в которой циркулируют слухи. Немотивированное странное происшествие – внезапное, балансирующее на грани обыденного случая и несусветной выдумки – осложняет восприятие городских толков. «Форма слухов “вправлена” в необычный контекст. <...> Острие иронии как бы направлено против “особенных прибавлений” к происшествию. <...> Гоголь искусно сохранял силу таинственности, так и высмеивая авторов слухов, он одновременно целил и в их “почтенных и благонамеренных” оппонентов и, поднимаясь над теми и другими, открывал в окружающей его жизни нечто еще более неправильное и фантастическое, чем то, что могли предложить любая версия или любой слух»<sup>17</sup>, – отмечает Ю. В. Манн.

Росказни в гоголевских повестях чаще всего стихийно появляются и так же стремительно растворяются в общем потоке происшествий и известий. Подробный эпизод о том, как молва о разгуливавшем по Петербургу носе распространяется и возбуждает интерес толпы, обрاملен



очень характерными для Гоголя бесхитростными пояснениями рассказчика: «Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений» (III, 71). И после описания реакции на толки жителей – быстрое прерывание темы, новая перипетия в жизни героя: «Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно» (III, 72). Застланная неопределенностью информационная среда Петербурга отводит взгляд своих жителей от того, что кажется важным с позиции автора. То, что «на виду» и «на слуху», оказывается куда более привлекательным для столицы, чем то, что «на деле». Затуманенное восприятие происходящего – это характерная черта мироощущения героев гоголевских повестей: растерянного Чарткова, напуганного Хомы Брута, мечтательного Пискарева.

### **Молва в столичном хронотопе: от «всеобщей коммуникации Петербурга» к точечным локусам**

В пространстве Петербурга можно выделить особые локусы, в которых циркуляция молвы шла особенно интенсивно, что подтверждают исторические свидетельства. В частности, в первой половине XIX в. центром распространения нелепиц был Адмиралтейский бульвар<sup>18</sup>. Прогулки от одного его конца до другого хватало, чтобы не просто пустить какой-то слух, но и услышать его с прибавлениями и новыми додуманностями подробностями. Неслучайно главных героев этого массового коммуникационного центра – бульварных вестовщиков – называли «гамбургской газетой»<sup>19</sup>. Надо отметить, что Адмиралтейский бульвар упомянут в письме Гоголя матери в качестве одного из центров гуляний наряду с Невским проспектом, Екатерингофом и Летним садом (X, 140). Уличные беседы обращаются в некую речевую церемонию, манифестирующую должное приличие.

Невский проспект обнаруживает невероятную суетливость, которая оборачивается глухотой: «Русской мужик говорит о гривне, или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою <...>, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах с пустыми штофами, или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту» (III, 10). Суета внешняя – мелькание лиц, циркуляция слухов, обсуждение газетных сенсаций, разглядывание того, что происходит по сторонам – подкрепляется внутренней сумятицей. Это и противочувствия Чарткова, и нарастание бескойных мыслей Поприщина, и характерное состояние художника, пробегающего по Невскому проспекту с «мешающимися в его голове предметами» (III, 18), и тревожные заботы старых коллежских секретарей, титулярных и надворных советников,

в чьих головах «ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел» (III, 14).

Слово произнесенное, слово уверенно высказанное или напечатанное далеко не всегда становится отражением действительности. Оно ее гиперболически копирует и в то же время само мимикрирует под фантазмагорическое пространство столицы. При «вслушивании» обманчивыми оказываются и петербургские разговоры. Невский проспект оборачивается большим «пузырем» из воображаемых образов, не только затуманивающих взор, но и обманывающих слух. Кроме оптического обмана, он порождает и звуковые искажения. Разговоры, которые представил бы читатель, проходящий по Невскому одновременно с рассказчиком, не имеют ничего общего с реальными толками. Суждения об архитектуре оборачиваются удивлением о странном положении двух ворон, восклицания о семейном происшествии – размышлениями о главной ошибке Лафайета (III, 46).

Гоголь, не раз прибегавший в украинских циклах к приему иронического смешения разнородных тем для разговоров: от тривиальных, бытовых пустяков до фантастических рассказов, и в новых повестях продолжает перечислять в одном ряду несхожие по приписываемой им значимости и содержательности информационные поводы («Мало-помалу присоединяются к их обществу [к прогуливающимся по Невскому проспекту] все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то поговорившие со своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем, показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец, выпивших чашку кофию и чаю <...>» (III, 11). И тут же: «Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства» (III, 13)).

Не только протяженный Невский проспект провоцирует на рождение молвы. В хронотопе гоголевских повестей существуют и точечные локусы, которые концентрируют людей вокруг тех персонажей, кто не прочь заняться пересудами. И если обозначение мест, где якобы видели носа, обусловлены информационным поводом и представляют собой непостоянные «островки» интереса, то в «Портрете» мы сталкиваемся с пространственным «маячком», который неизменно собирает любопытствующих прохожих. Картинная лавка становится символом циркулирующей коммуникации, средоточием внимания не только к выставленным образцам, но и к тем, кто приходит на них посмотреть<sup>20</sup>. В этой толпе выделяется особая категория. Речь о тех, кто, следуя художественной логике Гоголя, предрасположен к слухотворчеству, а именно – о женщинах: «торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает



народ, и посмотреть, на что он смотрит» (III, 80). Именно они не меняют выражения лица, когда сплетничают (Агафия Федосеевна из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), при удобном случае «брешут» и «выдумывают» (старухи из «Ночи перед Рождеством»), а также вносят переполох («Майская ночь, или Утопленница»). В «Невском проспекте» автор-рассказчик выносит вердикт: «но дамам меньше всего верьте» (III, 46).

Предметы искусства, другими словами, предметы, соотносящиеся с представлением о вкусе, – потенциальные источники обсуждений, оценок и споров, – формируют вокруг себя особое речевое поле, «кнамагниченное» пространство, которое подразумевает возникновение пересудов и всплески молвы. Лавка – скопление разнородных картин и набросков – сама по себе является символическим пространством, не раз попадающим во внимание передатчиков информации. Слухи о том, что именно в таких местах можно натолкнуться на стоящие предметы искусства, заставляют Чарткова внимательнее присмотреться к ассортименту. «Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров» (III, 81). Покрытые очарованием чьих-то чудесных историй, товары в лавке, причем необязательно существующие, а именно нарисованные воображением под действием слухов, приобретают более привлекательный вид.

В начале повести картинная лавка собирает прохожих и зевак, в конце – ее инвариантом становится дом, где проходил аукцион. Сюда стекаются равнодушные к искусству люди: «Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи» (III, 118). Пространство шумных пересудов и обрывочных суетливых разговоров – аукцион – локус особого рода. В нем по большей части собраны предметы, носящие отпечаток историй о своем владельце или создателе.

Шум внешний кажется еще более заметным на фоне внутренних диалогов, суетные пересуды – на фоне вдумчивого и молчаливого внимания. Безоговорочное мнение собравшихся на аукционе укрепляет славу малоизвестного художника. Если прежде оценки Чарткова порождали массовые толки, перенимались поклонниками его творчества, то теперь в шумной молве растворяется молчание героя. Отвечать безмолвием на внешний гул будет и другой гоголевский персонаж – Акакий Акакиевич Башмачкин.

#### **Акакий Акакиевич Башмачкин: суета временная и вечная**

Составленная из фрагментов, молва всегда приходится кстати, кажется неслучайной и «оживает» при упоминании какого-то лица, события или темы. «Говорят, весьма недавно поступила

просьба от одного капитана-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе» (III, 141), – автор-рассказчик приводит в пример слух, который помогает объяснить отказ от обозначения департамента, в котором работал Башмачкин. Такие уточняющие оговорки становятся лучшей иллюстрацией действительности и расширяют смысловое пространство за счет зыбкого образа массового знания и всеведущей толпы.

Персонаж Башмачкина как бы двойся, оказываясь героем надуманного образа, который сочиняют «молодые чиновники» (III, 143). Рассказы коллег носят, скорее, фантазийно-саркастический характер, не переходя в сплетни, так как мгновенно используются для подтрунивания над Акакием Акакиевичем: «Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом» (III, 143). А в ответ – равнодушное молчание. В рукописной газете «Слухи» Николай Добролюбов, объясняя свой замысел и отбор тем, напишет про воздействие и непостоянство толков, которые так стремительно заменяют друг друга, что не успевают остаться в памяти: «Это не мертвые числа и буквы, не архивная справка, не надгробная надпись умершему, – нет, это сама жизнь с ее волнениями, страданиями, наслаждениями, разочарованиями, обманами, страстями, – во всей красоте и истине»<sup>21</sup>. Башмачкин, погруженный в свою работу, отрешен от звучащего слова – устной информационной стихии. Он сознательно меняет его на тщательно выписанные составные знаки – буквы.

Повествование об умышленных нелепых толках используется рассказчиком как отправная точка в коллективном портрете окружения Башмачкина. Голоса остроумных краснобаев сливаются в протяжный хохот от озвученных небылиц. Речевой портрет срывает мнимую порядочность, казалось бы, «приличных, светских людей»<sup>22</sup> (III, 144). Интересно, что именно реакция Башмачкина на толки о нем приводит к особой психологической трансформации: духовному перерождению одного из чиновников: «как будто все переменилось перед ним [чиновником] и показалось в другом виде» (III, 144). Толки могут сопутствовать не только раскрытию темной, демонической стороны, но и возрождению светлой, нравственной.

Башмачкин не ищет развлечений, в отличие от своих коллег по департаменту. В его замкнутом мире даже против словесных «посягательств» на покой и привычный ход дел есть свой заслон – непотворение. Акакий Акакиевич не отвечает своим «обидчикам» оправданиями, пререканиями,



ругательствами – он выбирает уход от суетливо-отвлекающих толков. Однако, отгораживаясь от чужих рассказней, Башмачкин не может выпасть из общей системы молвы: он сам является субъектом насмешек.

В череде любопытствующих гоголевских героев Акакий Акакиевич кажется «не от мира сего» – абсолютно отрешенным от внешних происшествий-известий. Жадный до новостей, охочий на молву, внимательно разыскивающий вокруг примечательные или неприглядные, но способные стать поводом для пересудов детали, «...молодой чиновник, простирающий <...> пронизательность своего бойкого взгляда...» (III, 145) – типичный для шумного Петербурга персонаж. «Психологическая основа, на которой выступает индивидуальность большого города, – это повышенная нервность жизни, происходящая от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений»<sup>23</sup>, – пишет Георг Зиммель. Столичная хлопотливость кажется совершенно чуждой успокоительно-неизменному мироощущению Акакия Акакиевича. Правда, это не избавит его от необходимости заказать новую шинель и (что оказалось очень волнительным, но и приятным) «выйти в свет».

Неудивительно, что по привычной для гоголевских повестей модели распространения известий новость об обновке Башмачкина мгновенно разносится среди коллег по работе: «Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует» (III, 157). Ничто не скроется из вида пытливого окружения, которое цепляется за внезапные «открытия», изобретая их из потока повседневности (как прохожие в повести «Шинель») или успевая выхватывать их среди быстротечной смены лиц и событий, как все, кто ступает на Невский проспект и автоматически попадает под влияние его метаморфоз («Какая быстрая совершается на нем фантазмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!» (III, 10)).

В. Ш. Кривонос отмечает усиление фантастичности происходящего в последнем эпизоде «Шинели»: «При этом слухи подчеркивают двусмысленные и неопределенные свойства мертвеца, что комически обыгрывается распоряжением полиции “поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертвого...”»<sup>24</sup>. По странному стечению обстоятельств Башмачкин будет обречен на неуспокоенность. Ему, подобно Хоме Бруту, в художественном пространстве повести выпадет шанс продлить свое «существование» благодаря молве. Слух о разгуливающем по Петербургу мертвеце приковывает внимание к Акакию Акакиевичу, который при жизни от этого внимания скрывался. Молва умножает невероятность происходящего, давая возможность воображению распоряжаться рассказами и создавать, а в дальнейшем поддерживать городские мифы.

Проявление противоречивых чувств – сомневающегося подозрения и доверчивого интереса – кажется естественным в гоголевском мире. Слух может легко выдаваться за известие, достойное печати, толки способны стремительно приковать внимание скучающих искателей информационных диковин и так же быстро их разочаровать. Такая смена настроений и отношения к происшествиям сопровождает или отчасти создает «чепуху совершенную», которая «делается на свете» (III, 73) и которой поражается рассказчик. «Иногда вовсе нет никакого правдоподобия <...>, – лукаво отмечает он, без лишних объяснений переходя к развязке сюжета. – А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей? – А все однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то» (III, 75). Такую формулу рассказчика возможно не просто применить к структуре и сути слухов, но и использовать в качестве «закона», объясняющего действие молвы в повестях Гоголя. Наплыв несообразностей, резкие переходы и внезапные обращения к толкам, неожиданные действия, вызванные услышанным, и несравнимые по масштабу предметы обсуждения – вот то, чем характеризуются толки в пространстве смысла трех циклов повестей. Молва при всей своей уверенности и потенциале сочинительства зачастую припоминается с оговорками – «однако же, при всем том, хотя, конечно» (III, 75).

Герои Гоголя руководствуются людской правдой, но в то же время ссылаются на шаткую истинность слухов. «Так создается атмосфера семантической неопределенности, в которой нельзя верить не только обманчивому облику людей или предметов, но и каким-либо утверждениям или заключениям»<sup>25</sup>. В этом смысле молва в повестях Гоголя имеет свойство антигетического словесного образования. Любопытно, что оговорки, которые ставят под сомнение истинность напечатанного и уверенность в истинности своего текста со стороны автора, встречаются и в газетных материалах. «*Само собою разумеется*, что все эти слухи *почти* не заслуживают доверия: они только показывают мнение о нем его соотечественников» (курсив наш. – Л.Е.) (1834. Т. 2. С. 75.), – противоречивое соединение интонаций непоколебимости и подспудно выраженного сомнения составляет речевую привычку тех, кто обращается к нечеткому мнению нечеткого круга говорящих.

В петербургских повестях стихия молвы обнаруживает себя в локусах разного масштаба и замкнутости: будь то круг сплетничающих офицеров, департамент, картинная лавка, аукцион или проспект. В пространстве столицы информационные поводы и их многочисленные версии становятся и одним из салонных ритуалов, и звеном, объединяющим в ситуативную общность «всех» или «многих», и мимолетным, изменчивым символом разорванных связей в большом городе.



Молва носит универсальный характер, являясь естественным проявлением любопытствующего интереса, жажды новостей и интригующих подробностей или превращаясь в доступное развлечение для всех групп. И слуга, и чиновник не преминут разузнать будоражащее сознание происшествие или обсудить обыденные темы. При этом мы видим, что толки ведутся в отдельных группах. В «Петербургских записках 1836 года» Гоголь подчеркивает, что столица очень неоднородна по составу, при этом границы между разными слоями общества довольно четко обозначены: «<...> аристократы, служащие чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы – все составляют совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою, больше живущие, веселящиеся невидимо для других. И каждый из этих классов, если присмотреться ближе, составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой» (VIII, 180).

Хронология повестей отражает развитие темы социальной глухоты, которая волнует писателя. По мнению Ю. М. Лотмана, уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» обнаруживается обращение к этому вопросу: «Пространственная разделенность, взаимонепроницаемость, вещьность наметили средства выражения существенной для Гоголя на следующем этапе идеи разобщенности, некоммуникабельности людей в замкнутом мире»<sup>26</sup>. Третий цикл повестей обострил эту проблему в том числе благодаря городским толкам и разорванным информационным цепочкам. Но даже в том случае, когда события покрываются туманом бессистемной молвы, слухи дают прозрачную возможность преодолеть столичную разобщенность, становясь тайным информационным кодом для отдельных групп и создавая видимость временных союзов, в основании которых лежит интерес к одному происшествию.

Пространство молвы не знает иерархических границ с той точки зрения, что оно одинаково вовлекает в устный коммуникационный поток все группы петербургских жителей. В глобальном смысле стихия толков делит людей на сопричастных, т. е. внимательно прислушивающихся, пересказывающих ходячие сюжеты или проверяющих известия на истинность, и посторонних, тех, до кого не донеслось эхо разлетающихся рассказов. При этом пространственные границы молва способна смещать за счет своей быстротечности и легкости распространения: «Миграция слухов и страшных рассказов, подчеркивающая подвижность границы, отделяющей центр от периферии <...>, обнажает хаотичное устройство столичного пространства, отдельные локусы которого, включая локус окраины, отражают общие для них черты топоса-хаоса»<sup>27</sup>, – пишет В. Ш. Кривонос. Отсутствие целостного представления о происходящем кажется отнюдь не мучительным неведением, но интригующей недосказанностью.

Провести грань между реальным и надуманным, особенно в вопросе не подвластных логике

событий, невозможно – стоит лишь обозначить версии и предостеречь от поспешных выводов: «Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки, или с умыслом распушенные слухи – это осталось неизвестно» (III, 122). Подобная градация молвы позже встретится в «Мертвых душах», когда небывалые покупки Чичикова взбудоражат весь город. Настанет черед распускать «толки, мнения, рассуждения» (VI, 154).

Как бы то ни было, для Гоголя важна не номинация, но эффект и свойство разлетающихся рассказов: будут они естественным речевым проявлением, откликом на невероятное событие или расчетливой манипуляцией. Облекая случившееся в ходячие сюжеты, молва помогает наращивать смыслы, умножать информацию, которую получает читатель: известие, обладающее потенциальной возможностью стать предметом пересудов, несущее в себе заряд всеобщего интереса, показывается в контексте. Сама ситуация общения, интонации адресантов, эмоциональный окрас, который сопровождает слухообразование, и составляют картину городского речевого полисемантического поля. Аудиальный канал коммуникаций становится важной характеристикой жизни столицы в целом и его населения в частности, а молва – рамочной структурой для происходящих происшествий и удивительных историй.

#### Примечания

- 1 См.: *Гоголь Н.* Повести // Гоголь Н. Полн. собр. соч. : в 14 т. Т. 10. М., 1940. С. 139. Далее ссылки на это издание приводятся в самом тексте с указанием в скобках тома римскими и страниц арабскими цифрами.
- 2 См.: *Топоров В.* Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (введение в тему) // Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы : избранные труды. СПб, 2003.
- 3 *Лотман Ю.* Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 326.
- 4 *Маркович В.* Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л., 1989. С. 22.
- 5 Там же.
- 6 *Лотман Ю.* Внутри мыслящих миров... С. 327.
- 7 *Пыляев М.* Замечательные чудачки и оригиналы. СПб., 1898. С. 187.
- 8 Там же. С. 196.
- 9 Там же. С. 198.
- 10 *Исупов К.* Космос русского самосознания. Слух (слухи) // Общество. Среда. Развитие (TERRA HUMANA). 2011. № 1. С. 253.
- 11 *Шульц С.* «Записки сумасшедшего» Гоголя и «Записки сумасшедшего» Л. Толстого : топика и нарратив // Гоголезнавчі студії. Ніжин, 2001. С. 62. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37586/07-Shults.pdf?sequence=1> (дата обращения: 30.09.2014).
- 12 *Маркович В.* Указ. соч. С. 38.
- 13 Библиотека для чтения. 1834. Т. 3. С. 18. Далее ссылки



на материалы этого издания приводятся в тексте с указанием в скобках года, тома и страницы.

- <sup>14</sup> См.: Библиотека для чтения // Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. М., 1962–1978. URL: <http://feb-web.ru/feb/kle/Kle-abc/ke1/ke1-6041.htm> (дата обращения: 02.10.2014).
- <sup>15</sup> См.: История русской журналистики XVIII–XIX веков / под ред. А. В. Западова. М., 1973. URL: <http://evartist.narod.ru/text3/01.htm> (дата обращения: 02.10.2014).
- <sup>16</sup> Кривонос В. Повести Гоголя : пространство смысла. Самара, 2006. С. 144.
- <sup>17</sup> Манн Ю. Поэтика Гоголя. М., 1988. С. 92.
- <sup>18</sup> См.: Пыляев М. Указ. соч. С. 196.
- <sup>19</sup> «Гамбургская газета», или «Гамбургские ведомости», была источником заимствований иностранных новостей, в частности, для изданий Ф. В. Булгарина.
- <sup>20</sup> В этом смысле картинную лавку можно считать локальным, уменьшенным инвариантом Невского проспекта,

который тоже превращался в период с двух до трех часов в «выставку всех лучших произведений человека» (III, 13).

- <sup>21</sup> Добролюбов Н. Собр. соч. : в 9 т. М. ; Л., 1961–1964. Т. 1. С. 109.
- <sup>22</sup> Похожим образом рассказчик обманывается и в повести «Невский проспект»: сапожники на деле оказываются «большую частью все порядочные люди» (III, 13), которые читают газеты и занимаются прогулками.
- <sup>23</sup> Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3–4. С. 1.
- <sup>24</sup> Кривонос В. Указ. соч. С. 249.
- <sup>25</sup> Там же. С. 303.
- <sup>26</sup> Лотман Ю. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова : Пушкин. Лермонтов. Гоголь : книга для учителя. М., 1988. С. 266.
- <sup>27</sup> Кривонос В. Указ. соч. С. 254.

УДК 821.161.1.09-31+929 Достоевский

## МИФОЛОГЕМЫ «СУДЬБА» И «ПУТЬ» В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Н. В. Сабаяева

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара  
E-mail: [nadezhda\\_sabaeva@mail.ru](mailto:nadezhda_sabaeva@mail.ru)

В романе Ф. М. Достоевского «Идиот» перед нами особый жанр романа-испытания: герой приходит в изображаемый мир с миссией спасения. В предлагаемой статье представляется интересной для интерпретации тема судьбы, которая, будучи промежуточной концепцией, обладает коннотациями, связанными со смертью, случаем, свободой, с темой пути.

**Ключевые слова:** Ф. М. Достоевский, роман «Идиот», Петербург, судьба, случай, путь.

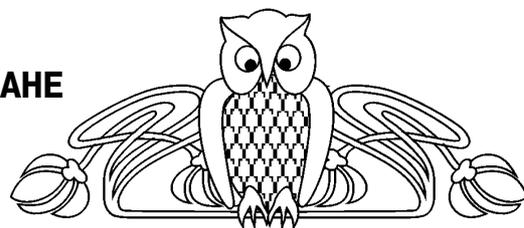
**Mythologemes «Fate» and «Road» in the Novel «The Idiot»  
by F. M. Dostoevsky**

N. V. Sabaeva

In «The Idiot» by F. M. Dostoevsky we encounter a special genre of an ordeal novel: the hero enters the portrayed world with the mission of salvation. In this article the theme of fate appears of interest for the interpretation, which, being an intermediate concept, has connotations associated with death, chance, freedom, with the theme of the road.

**Key words:** F. M. Dostoyevsky, novel «The Idiot», Petersburg, fate, chance, road.

В романе Ф. М. Достоевского «Идиот» перед нами особый жанр романа-испытания: герой приходит в изображаемый мир с миссией спасения, подвергая проверке не только свой взгляд на мир, систему ценностей «положительно-прекрасного» человека, но и сам мир с его озлобленными и гордыми жителями – представителями русского



общества начала XIX в. Реальные судьбы героев, с которыми сталкивается князь Мышкин на своем пути, становятся жизненной проверкой состоятельности его идеалов красоты, добра и правды.

В романе затронуто множество вопросов и противоречий, раскрываемых в большей степени или только намеченных, но важных для всего творчества писателя. Нам представляется интересной для интерпретации тема судьбы. «Именно искусство, – по мысли М. Эпштейна, – тяготеет к постижению человеческой жизни как цепи свершений, в которой все звенья связаны и каждое начало приводит к определенному концу. Эта завершенность, нелюбовь к разомкнутому и случайному, с одной стороны, к жестко предусмотренному и предопределенному – с другой, придают искусству особый интерес для изучения человеческой судьбы»<sup>1</sup>.

Отдельно в романе Ф. М. Достоевского о судьбе не говорится, нет никаких размышлений или авторских отступлений, но есть упоминания, модели поведения: одни герои ее испытывают, другие – повинуются ее воле, но все без исключения чувствуют ее силу. Подобные косвенные ощущения создают определенный фон, позволяющий оценивать взгляды тех или иных героев, их жизненные позиции. Кроме того, художественно осмысляя судьбы изображаемых героев, автор выстраивает целостную систему образов и отношений, раскрывает подлинное значение жизни. Таким образом, судьба занимает важное место в пространстве романа, организуя события и